

RU

Детская тема в творчестве Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя: сопоставительный анализ

Аристова С. А.

Аннотация. Цель исследования - проанализировать касающиеся воплощения темы детства мотивы, заимствованные Ф. М. Достоевским у Н. В. Гоголя: мотив связи детей и денег, мотив использования детей и детского в качестве нравственного шантажа, мотив детской невинности и чистоты в противовес взрослой пошлости и эгоистичности, мотив детского страдания. В статье подробно, с привлечением многочисленных примеров из произведений данных авторов, рассматриваются самые разнообразные случаи текстового, сюжетного и идейного совпадения, наблюдаемые при воплощении темы детства в творчестве Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя. Научная новизна работы состоит в использовании большого фактологического материала и недостаточной изученности заявленного аспекта в литературоведческих кругах. В результате выявлен ряд ключевых переключек и заимствований из творчества Н. В. Гоголя в творчество Ф. М. Достоевского.

EN

Children's Theme in F. M. Dostoevsky's and N. V. Gogol's Creative Work: Comparative Analysis

Aristova S. A.

Abstract. The aim of the study is to analyse the motives related to the embodiment of the childhood theme borrowed by F. M. Dostoevsky from N. V. Gogol's works: the motive of connection between children and money, the motive of using children and the childlike as moral blackmail, the motive of children's innocence and purity as opposed to adults' vulgarity and selfishness, the motive of children's suffering. The article examines in detail, with the involvement of numerous examples from these authors' works, the most diverse cases of textual, plot and ideological coincidence observed in the embodiment of the childhood theme in F. M. Dostoevsky's and N. V. Gogol's works. The scientific novelty lies in the use of large factual material and insufficient knowledge of the stated aspect in literary circles. As a result, a number of key echoes and borrowings from N. V. Gogol's creativity are revealed in F. M. Dostoevsky's works.

Введение

Детские персонажи встречаются практически во всех произведениях Ф. М. Достоевского. Писателя всю жизнь чрезвычайно сильно волновали вопросы взросления, воспитания, проникновения зла в изначально невинную детскую душу. О детях в его творчестве писали такие именитые ученые, как В. В. Виноградов, М. М. Бахтин, Л. П. Гроссман, А. С. Долинин, К. В. Мочульский, Г. М. Фридендер и другие. Проводились параллели и сопоставления: с Н. М. Карамзиным, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, Ч. Диккенсом (Баевский, Романова, 2007; Бегак, 1983; Козлова, 2010; Неелов, 2011; Шестакова, 2008; Эпштейн, Юкина, 1979). В нашей работе мы коснемся разбора ряда мотивов, которые Ф. М. Достоевский, изображая в своем раннем творчестве детей, заимствует у Н. В. Гоголя.

Тема детства – одна из вечных тем литературы. Для Ф. М. Достоевского это сквозная тема, проходящая через все его творчество – от ранних повестей до «Братьев Карамазовых», где возникнет знаменитая формула Дмитрия Карамазова «все – дите». И у Н. В. Гоголя, и у Ф. М. Достоевского эта тема тесно переплетена с религиозными идеями, которые являются центральными для творчества обоих писателей. Соответственно, актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью осмысления детской темы в сопоставительном аспекте, что позволит углубить представление как о творчестве этих писателей, так и о ключевых тенденциях русской прозы XIX в.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: во-первых, выявить сюжетные переключки в произведениях Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя, во-вторых, объяснить их функцию в текстах и в-третьих, проследить на основе этого основные мотивы, заимствованные Ф. М. Достоевским у Н. В. Гоголя.

Для решения данных задач используются культурно-исторический, биографический и сравнительно-сопоставительный методы исследования.

Теоретической базой исследования послужили статьи русских и зарубежных литературоведов. Прежде всего необходимо упомянуть М. Эпштейна и Е. Юкину (1979), которые одними из первых подняли вопрос о сопоставлении темы детства в творчестве самых разных русских и зарубежных писателей. Также значима работа Р. Лаута (1996), который в книге «Философия Достоевского в систематическом изложении» касается вопроса религиозного звучания темы детства у Ф. М. Достоевского. Но наиболее значимо исследование В. С. Пушкиревой (1998), которая рассмотрела феномен детства в творчестве Ф. М. Достоевского как целостное явление.

Практическая значимость: результаты работы могут быть использованы на уроках литературы в школе, при составлении лекций в вузах и при планировании спецкурсов, а также в дальнейших исследованиях феномена детства в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского.

Основная часть

С психологической точки зрения темы раннего детства у Н. В. Гоголя не существует. Психология ребенка не интересует автора «Вечеров...» и «Мертвых душ». Ребенок появляется в его произведениях в основном в следующих случаях:

1. Как «деталь» общей картины или элемент в создании образа, в развернутом сравнении, иногда как способ изменить точку зрения в описаниях. Разберем несколько однородных примеров, чтобы проиллюстрировать данный пункт.

«Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою» (Гоголь, 1951, с. 11-12). В этом одном предложении из «Мертвых душ» «уместилась» львиная доля описания прогулки Чичикова, и мальчик в военной ливрее здесь функционально ничем не отличается от реки или афиши. У Ф. М. Достоевского тоже встречаются такие лишние оценки упоминания детей как части обстановки, но они чрезвычайно редко: «Дворная собака ворча грызла кость вблизи разбитого колеса, и трехлетний ребенок в одной рубашонке, почесывая свою белую мохнатую голову, с удивлением глядел на зашедшего одинокого горожанина» (Достоевский, 2014, с. 12).

Описание бала у губернатора: «Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врозь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспokoящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами» (Гоголь, 1951, с. 14). В процитированном фрагменте дети упоминаются, чтобы передать определенную информацию через их точку зрения и придать большую реалистичность образу, благодаря развернутым, подробным описаниям: «лакомые куски» и мухи, их облепившие, поданы через детский взгляд, в тексте четко обозначена детская зависть к мухам, которая коррелирует с завистью Чичикова к «черным фракам». Он – самозванец. Они, и их много, как мух, – полноправные властелины этого мира, имеющие за душой некоторое состояньице, наслаждающиеся сладостью обеспеченной жизни.

Очень показательны в плане детализации описание детей Манилова. Они не более, чем приложение к их отцу, еще одна деталь в характеристике. Вся реалистичность и комичность происходящего за столом (Алкид, чуть не зарывавший от того, что его укусил за ухо брат, «препорядочная посторонняя капля» (Гоголь, 1951, с. 31), чуть не испортившая суп Фемистоклюса, односложные ответы последнего на «трудные» взрослые вопросы, фраза «Какие миленькие дети» (Гоголь, 1951, с. 31), брошенная Чичиковым) не позволяет увидеть в детях конкретных детей. Только обобщенные, усредненные, подчиненные описанию их отца схемы. При всей живости, выпуклости происходящего мы видим детей через незаинтересованный, совершенно безразличный взгляд Чичикова, и дети перестают быть собственно детьми, они становятся лишь прекрасно выполненным орнаментом, узором, вплетенным в общую картину. Хотя у них есть и еще одна функция: их введение в текст переплетается с темой воспитания, затронутой в связи с описанием их маменьки чуть ранее, но и эта функция, конечно, не добавляет в их образы психологичности и конкретности.

2. Ребенок как будущий взрослый – в этом случае он привлекает более пристальное внимание художника: тогда через детство просвечивают черты уже состоявшейся личности, показано формирование этих черт, влияние внешних событий на это формирование. То есть ребенок ценен и важен не сам по себе, а только как «предобраз», с точки зрения предыстории взрослого героя. Это традиция Просвещения, оставившая

свой след и в творчестве Ф. М. Достоевского (см., например, описание первого детства Вареньки из «Бедных людей»), но главное отличие между подходом Гоголя и Достоевского к описанию детства героев заключается в том, что для последнего ребенок как раз самоценен, и в его раннем творчестве есть произведения, в которых на детстве и отрочестве героя замыкается повествование («Маленький герой», «Неточка Незванова»). У Гоголя не было такого пристального внимания к детям, они его попросту не интересовали в отрыве от взрослых. Например, при описании Ноздрева читаем следующее: «Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слынут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы» (Гоголь, 1951, с. 70). Отсылка к детским годам дана только для того, чтобы более выпукло обрисовать характер уже повзрослевшего Ноздрева.

Или при описании детства Чичикова, когда каждая деталь, каждая подробность указывает на будущий плутовской нрав героя и на его с раннего детства появившуюся любовь к копейке: «Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем» (Гоголь, 1951, с. 226).

3. Как символ, наполненный религиозным звучанием (младенец Христос, невинный младенец), например в «Портрете»: «Чувство божественного смиренья и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над Младенцем, глубокий разум в очах божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали...» (Гоголь, 1938, с. 134). Явное противопоставление жутким глазам, которые, как живые, глядели с проклятого портрета.

На этом, пожалуй, можно было бы поставить точку в освещении данного вопроса. Но существует несколько частных, но очень важных переключек, заимствований и противоречий между презентацией темы детства в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, которые, на наш взгляд, заслуживают того, чтобы рассмотреть их немного подробнее. Прежде всего проанализируем случаи, когда дети выступают в речи героев в качестве предмета нравственного шантажа, вымогательства, бахвальства.

«Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!..» (Гоголь, 1951, с. 37) – говорит Чичиков Манилову, очень тонко используя вдовицу и сироту в качестве средства нравственной спекуляции. Плюшкин желает «всяких утешений не только ему [Чичикову. – С. А.], но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него, или нет» (Гоголь, 1951, с. 123). То же самое делает у Достоевского в «Господине Прохарчине» Устинья Федоровна, постоянно вспоминающая о своей «сиротской беззащитности» (Достоевский, 2013, с. 275), и Андрей Ефимович из бреда Семена Ивановича Прохарчина, тот, что, пересчитав жалованье, заключил: «Денежки-с! Их не будет, и каши не будет-с... а у меня, сударь, семеро-с» (Достоевский, 2013, с. 286), а затем, «с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпенку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся» (Достоевский, 2013, с. 286). Это «неотъемлемое число семерых» оказалось на господина Прохарчина такое сильное действие, что он бросился бежать, опасаясь, как бы «маленький, вечно молчащий лысый человечек» (Достоевский, 2013, с. 286) не вернулся и не отнял у него жалованье. И это сходство в использовании детей, сирот, вдовиц в качестве нравственного шантажа вызвано не столько литературными заимствованиями, сколько общей социальной направленностью произведений: таких случаев спекуляции на детях было предостаточно и в реальности. Вот, например, что пишут коллективные авторы (предположительно, этот эпизод принадлежит Д. В. Григоровичу (Достоевский, 2013, с. 774)) альманаха «Как опасно предаваться честолюбивым снам»: «Несомненные признаки их [попрошак «несколько измятой, но благонамеренной наружности», попросту – вымогателей. – С. А.] – семь человек детей (неприменно семь, ни больше ни меньше), мать на одре страдания, язык, несколько заплетающийся при извещении, что третьи сутки (тоже ни больше, ни меньше) не было уже маковой росинки во рту...» (Достоевский, 2013, с. 304). Это уже типаж шантажиста и вымогателя, человека, играющего на лучших чувствах других ради удовлетворения собственных корыстных интересов, типаж, взятый, несомненно, из реальности. Общественной моралью, защищающей женщин и детей, вдовиц и сирот, можно было бы, например, оправдать Прохарчина: «Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел...» (Достоевский, 2013, с. 294), начало свое эта тема берет еще в Библии (можно привести в пример «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте» (Исх. 22:22), «Не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе» (Иер. 7:6) или «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1:17) и множество подобных мест), в словесном же творчестве успела пустить глубокие корни в романтических и предромантических произведениях, где защитники детей и вдовиц – не прохвосты и хвастуны, а настоящие герои и где «зарыть в землю золото вдов и сирот» (см., например, «Разбойников» Ф. Шиллера, акт 4, сцена 5, разговор Моора с отцом) или не отомстить за убитого, оставившего вдову с детьми (см., например, разговор Саймона с Генри в 19 главе романа «Пертская кравица, или Валентинов день»), было преступлением, а украсть, чтобы прокормить тех же самых сирот, – подвигом. В устах Чичикова и в страхах Прохарчина заветы о защите детей, вдов и сирот меняют свое первоначальное значение, приобретая комическое звучание, романтические порывы уступают эгоистическим, происходит пародирование романтических штампов: вместо образа благородного разбойника возникают сниженные образы пройдохи и скупца. Здесь же берут свое начало персонажи вроде Юлиана Мاستаковича и Лужина – те, что не способны отказать от собственного эгоизма, от подсчета выгоды и не могут по-настоящему сострадать, зато прекрасно умеют извлекать пользу из громких фраз о морали и нравственности. Они часто сюжетно противопоставлены детям: оставляют их в беде, используют в корыстных целях,

являются оппонентами в идеологических спорах. Эти персонажи не испытывают ни любви, ни привязанности, ни хотя бы сочувствия. И они сами закономерно не вызывают ни симпатий, ни сочувствия читателей. Таковы Юлиан Мастакович, Петр Александрович из «Неточки Незвановой», муж m-me M из «Маленького взгляда», Валковский-старший, позднее – Лужин и Тоцкий. Эти персонажи начисто лишены «детского взгляда» на мир, а с ним они лишились и способности отличать добро от зла, способности видеть и ценить человеческое в людях, вообще видеть что-либо, что не ведет к достижению их эгоистичных целей. Юлиан Мастакович так занят подсчетами будущего приданого одиннадцатилетней дочери богатого откупщика, что не замечает рассказчика «за горшками с зеленью», не замечает он и испуга своей будущей невесты (а вот рыженький мальчик, сын гувернантки, «захныкал от полного сочувствия к ней» (Достоевский, 2014, с. 175)).

Петр Александрович не замечает притаившуюся в углу Неточку, когда, перед тем как войти к Александре Михайловне, «переделывает свое лицо» (Достоевский, 2014, с. 345) у зеркала, и невольная свидетельница этого маскарада вздрагивает «от какого-то неопределенного, недетского чувства» (Достоевский, 2014, с. 345). Он не замечает и того, что безжалостно изводит жену, подтачивая ее здоровье.

Муж m-me M не замечает бледности своей жены и ее грусти, увлеченный собственным остроумием, тогда как внимательный взгляд ребенка улавливает малейшие изменения в лице страдающей красавицы. Маленький герой на протяжении всего повествования очень пристально следит за тем, что происходит вокруг, он не только с любопытством наблюдает, но и угадывает характеры и чувства окружающих его людей и никогда не остается равнодушным.

В «Мертвых душах» в шестой главе есть такое отступление: «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, – любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд» (Гоголь, 1951, с. 110); «...все останавливало меня и поражало» (Гоголь, 1951, с. 110); «...ничто не ускользало от свежего, тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покррой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики... и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного Бог знает из какой губернии, на уездную скуку и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их» (Гоголь, 1951, с. 110). Ребенок не просто наблюдает, он пытается представить жизнь тех, кто встречается ему на пути, он наблюдатель равнодушный, в отличие от Чичикова. Свежесть детского восприятия противопоставляется сосредоточенности покупателя мертвых душ на единственно интересующем его предмете. Ничто не может занять его мысли на долгое время: ни новые селения, ни знакомство с помещиками, ни юная незнакомка, о которой он позабыл, как только показалась впереди деревня Собакевича, ничто не может его удивить – даже перед Плюшкиным он замолкает на какое-то время «развлеченный» внешностью хозяина и обстановкой его дома, но не удивленный, а просто пребывающий в замешательстве, потому что «долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения» (Гоголь, 1951, с. 120). Это не просто отсутствие любопытства, это отсутствие способности сопереживать другому живому существу, что сближает Чичикова с персонажами-циниками Ф. М. Достоевского, особенно явное сходство, как увидим далее, наблюдается с Юлианом Мастаковичем.

Юлиан Мастакович, впервые появившийся в «Петербургской летописи» от 27 апреля 1847 года, открывает целую галерею образов «добродетельных злодеев» (Акелькина, 2008, с. 68), в свою очередь, имея среди литературных прототипов Быкова, обольстителя Вареньки из «Бедных людей». Этот тип глубоко неприятен Ф. М. Достоевскому (Виноградов, 1976). Е. А. Акелькина (2008) говорит о том, что на примере частного случая Ф. М. Достоевский показал вечную историю, «игра характерологически-социальными штампами прозы натуральной школы перерастает у Достоевского в емкое философское обобщение» (с. 69). Действительно, частный неравный брак становится символом разрушения нравственных основ этого мира: вместо праздничного единения в любви – поиск выгоды, вместо братского всепрощения – тирания, запугивание одинокого, всеми отринутого и униженного за бедность ребенка, вместо таинства венчания – кощунство. То, что, казалось бы, должно было объединить людей – общее дело, общая радость, – перерастает в торжество эгоизма. Разыгрывается великая трагедия, и трагизм невозможно передать в полной мере, не включив в повествование детей. Ведь этот случай можно было бы преподнести и с комической точки зрения, если бы за описание подобного эпизода взялся другой автор, например Н. В. Гоголь. В пятой главе «Мертвых душ» есть эпизод первой встречи Чичикова с дочкой губернатора, только что вышедшей из пансиона шестнадцатилетней девицей (ср. у Достоевского (2014): «Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лет» (с. 177)). И сходство на возрасте не заканчивается: «При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы – все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами» (Гоголь, 1951, с. 90), ср. с испугом одиннадцатилетней девочки, когда к ней подошел Юлиан Мастакович («вскрикнула от испуга» (Достоевский, 2014, с. 174), потом «большие задумчивые глаза навькате» (Достоевский, 2014, с. 172), которые в день свадьбы «были красны от недавних слез» (Достоевский, 2014, с. 177), и обращение будущего жениха: «А оттого, что вы были милое и благонравное дитя всю неделю» (Достоевский, 2014, с. 174)). Встреча происходит при весьма неприятных обстоятельствах: перепутались упряжи лошадей двух экипажей. И распутывают их, собравшись всем миром: «...в деревне остались только старые бабы да малые ребята» (Гоголь, 1951, с. 91) – народ вместе справляет праздники, вместе встречает беду. Но дело не заладилось: мужики никак не могли по-настоящему объединиться и все только мешали друг другу и кучеру (у Достоевского на праздновании Нового года тоже не происходит единения).

Тем временем Чичиков «глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку» (Гоголь, 1951, с. 92). Наконец упряжи распутались, незнакомка уехала, и Чичиков задумался. Сначала: «Она теперь как дитя, все в ней просто: она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь!» (Гоголь, 1951, с. 93) и потом: «А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава, или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе?» (Гоголь, 1951, с. 93). Для сравнения у Достоевского (2014): «Я заметил, что он [Юлиан Мастакович. – С. А.] с минуту назад горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою» (с. 173). Рассуждения Чичикова и Юлиана Мастаковича развиваются весьма сходно (надо отметить, что и во внешности персонажей есть сходные черты: оба почтенные, «порядочные» люди, уважаемые в обществе, зрелого возраста, не юнцы, Чичиков «не так чтобы слишком толстый, однако ж и не тонкий» (Гоголь, 1951, с. 14), но сочувствующий «толстым», «Юлиан Мастакович был немножко толстенек. Это был человек сытенный, румяный, плотный, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек» (Достоевский, 2014, с. 175) и перед свадьбой: «Это был маленький, кругленький, сытенный человечек с брюшком...» (Достоевский, 2014, с. 177)). «Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека» (Гоголь, 1951, с. 93) и «Триста... триста, – шептал он. – Одиннадцать... двенадцать... тринадцать и так далее. <...> Ну, пятьсот, положим, пятьсот тысяч, по крайней мере, это наверно; ну, излишек на тряпки, гм...» (Достоевский, 2014, с. 173). Далее Юлиан Мастакович идет «абординировать» свой предмет, а у Чичикова «двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренне начал досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей не разведал от фореитора или кучера, кто такие были проезжающие» (Гоголь, 1951, с. 93). «Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету» (Гоголь, 1951, с. 93). У Чичикова была другая идея, как заработать капитал, поэтому прекрасная шестнадцатилетняя незнакомка быстро покинула его мысли, а вот Юлиан Мастакович воплотил то, что только мимолетно промелькнуло в голове гоголевского персонажа, и как воплотил, вернее, с чего начал! С «нападения» на ничего не подозревающего ребенка. Если чичиковская незнакомка «как дитя», то будущая невеста персонажа Достоевского еще совсем дитя при первой встрече, и притязания на ее расположение не вызывают ни лирических чувств, ни смеха, они нисколько не веселят читателя, они противоестественны.

Из-за людей, подобных Юлиану Мастаковичу, страдает невинный ребенок, и это страдание невыносимо для Ф. М. Достоевского, он не может отвернуться или отшутиться. Страдающих детей мы видим и в произведениях Н. В. Гоголя. Погибает безвинный ребенок Катерины из «Страшной мести», Петрусь убивает шестилетнего Ивася в угоду колдунье, чтобы найти клад, казаки под предводительством Тараса, «поднимая копытами с улиц младенцев их [полячек. – С. А.], кидали к ним же в пламя» (Гоголь, 1937, с. 169), на улицах осажденного города тяжело, на глазах у Андрия умирает младенец у иссохшей груди мертвой своей матери. Пронзительные образы, но они не трогают так сильно, как мальчик с запиской, о котором рассказывает в очередном письме к Вареньке Макар Девушкин, или злоключения Нелли. Н. В. Гоголь (1937) описывает страдания детей как хроникер, отрешенно, констатируя факт: «Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранные кожи с ног по колени у выпущенных на свободу, – словом, крупную монетою оплачивали козаки прежние долги» (с. 83). Вспомним описание медленной голодной смерти младенца у груди матери, свидетелем которой становится в осажденном городе Андрий. Автор не описывает чувств, которые вызывает в молодом козаке представшая пред ним картина. Более того, уделив несколько предложений в духе школы «неистовых романтиков» жуткому описанию мертвой матери и умирающего ребенка, Н. В. Гоголь (1937), как и его герой, совершенно забывает о них и переключается на внезапное нападение сошедшего с ума от голода горожанина. В предыдущем абзаце Андрий, впервые услышавший орган, «дивился... с полукрытым ртом величественной музыке» (с. 97), и музыка, как мы видим, впечатлила его намного сильнее, чем последующая сцена. Художественный эффект, удержание взгляда читателя на эпизоде с младенцем происходит разве что за счет точности, ритмичности языка, за счет чисто словесных художественных средств, которые, впрочем, у Гоголя везде хороши. Совсем по-другому описывает страдающего ребенка Ф. М. Достоевский. Вернее, он чаще передоверяет описание своим персонажам или рассказчикам. В. С. Пушкирева (1998) пишет об этой особенности: «Везде они [дети. – С. А.] даются через напряженно-болезненное восприятие героев, везде мы видим не только и не столько детей, сколько воздействие детского страдания на героя» (с. 20). Игра со стилем и языком в этом случае, как происходит у Гоголя, Достоевскому чужда, более того, когда описываются страдания детей, она просто «нравственно недопустима» (с. 20).

Вспомним, например, Макара Девушкина, который увидел на улице мальчика. «Малютка», «чахленький», «в одной рубашонке», «разиня рот», «детский возраст!», «кончик рукава грызет», «бумажечка», «монетка», «встрепенулся», «мой мальчик», «ручонки», «голосенок», «бедненький», «может быть и голодный», «ей-ей, не врет» (Достоевский, 2013, с. 104) – здесь каждое слово привычной, казалось бы, читателю речи Макара Девушкина, изобилующей уменьшительно-ласкательными формами, иллюстрирует не просто факт существования мальчика с запиской, а пронзительную жалость, которую к нему испытывает герой «Бедных людей», здесь в каждом слове выражена редчайшая среди людей и необходимейшая способность, которой наделен Девушкин и которой наделены все «положительно прекрасные» персонажи Достоевского, – способность сопереживать

чужому горю. И фраза «А как было жаль!» – только еще одно, читателю уже не требующееся доказательство того, что на улице произошла не рядовая встреча, а что-то из ряда вон выходящее, то, чего не должно быть на белом свете, там, где все под Богом ходят. И недаром через несколько предложений возникает имя Христа: «Ох, Варенька, мучительно слышать Христа ради, и мимо пройти, и не дать ничего, сказать ему: “Бог подаст”» (Достоевский, 2013, с. 105). Как и в «Елке и свадьбе», когда привычная, казалось бы, история вдруг приобретает глубоко философский характер, так и в этом эпизоде Девушкин делает обобщения, подводящие его к вопросу о корне зла и греха в человеческом сердце: «...и ожесточается сердце ребенка, и дрожит напрасно на холоде беденький, запуганный мальчик, словно птенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги; дух занимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет; тут недалеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи – вот и вся его жизнь!» (Достоевский, 2013, с. 104-105). Именно эпизод с мальчиком дает возможность Девушкину развить «иносказательную», «вольную» мысль о сапогах и шепчущей на ухо богачу совести (В. С. Пушкирева (1998) отмечает, что с того письма, в котором описана встреча с нищим мальчиком, в душе Девушкина зарождается протест, и мальчик – «один из фактов и факторов формирующегося самосознания Девушкина» (с. 5.), первый шаг к плачущему «дитю» Мити Карамазова), а в конце письма вольно, на своей манер, говоря о естественном для людей единении, а не о чувственной любви (Касаткина, 1998), перефразировать последние строки Пушкина из «На холмах Грузии...»: «Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко» (Достоевский, 2013, с. 108).

Заключение

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: в отличие от Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголь не интересуется психологией ребенка, но ряд мотивов, относящихся к теме детства, Ф. М. Достоевский заимствует именно у своего старшего литературного учителя: мотив связи детей и денег, мотив использования детей и детского в качестве нравственного шантажа, мотив детской невинности и чистоты в противовес взрослой пошлости и эгоистичности, мотив детского страдания. Последний приобретает особенно пронзительное звучание у Достоевского за счет того, что о детях у него всегда повествует неравнодушный рассказчик.

Перспективы дальнейшего исследования. Мы коснулись только некоторых мотивов, заимствованных Ф. М. Достоевским у Н. В. Гоголя в процессе работы над созданием детских образов. Эта тема требует дальнейшего более детального изучения. Например, необходимо подробнее проследить, как воплощаются детские образы у Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского в контексте религиозной символики и как презентуется в произведениях обоих писателей тема памяти о детстве, также можно привлечь еще более обширный материал – позднее творчество Ф. М. Достоевского, проследив, как в романах «великого пятикнижия» видоизменяются мотивы, заимствованные автором «Бедных людей» у своего литературного учителя.

Источники | References

1. Акелькина Е. А. Елка и свадьба // Достоевский: сочинения, письма, документы: словарь-справочник / сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкинский дом, 2008.
2. Баевский В. С., Романова И. В. Художественный мир Достоевского в художественном мире русской литературы XIX–XX веков // Достоевский и мировая культура. Альманах. М., 2007. Вып. 22 / ред.-сост. К. А. Степанян.
3. Бегак Б. А. Классики в стране детства: очерки. М., 1983.
4. Виноградов В. В. Школа сентиментального натурализма: роман Достоевского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40-х годов // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы: избранные труды. М.: Наука, 1976.
5. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14-ти т. / гл. ред. чл.-кор. АН СССР Н. Л. Мещеряков. М.: Изд-во АН СССР, 1937. Т. 2. Миргород / под ред. В. В. Гиппиуса.
6. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14-ти т. / гл. ред. чл.-кор. АН СССР Н. Л. Мещеряков. М.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 3. Повести / под ред. В. Л. Комаровича.
7. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14-ти т. / гл. ред. чл.-кор. АН СССР Н. Л. Мещеряков. М.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6. Мертвые души. Ч. 1 / под ред. Н. Ф. Бельчикова.
8. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: в 35-ти т. / гл. ред. В. Е. Багно. СПб.: Наука, 2013. Т. 1. Бедные люди. Повести и рассказы 1844–1846 / под ред. В. Д. Рака.
9. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: в 35-ти т. / гл. ред. В. Е. Багно. СПб.: Наука, 2014. Т. 2. Повести и рассказы 1847–1859 / под ред. И. Д. Якубович.
10. Касаткина Т. А. «Другая» любовь в ранних произведениях Достоевского // Достоевский и мировая культура. 1998. № 10.
11. Козлова А. Л. Образ ребенка в творчестве Достоевского: возникновение концепта детства в русской мысли // Дни аспирантуры РГГУ: материалы научных конференций. Материалы круглого стола. Научные статьи. Переводы М.: РГГУ, 2010. Вып. 4.
12. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / под ред. А. В. Гулыги; пер. с нем. И. С. Андреевой. М.: Республика, 1996.

13. Неелов Е. М. Детская литература и культура детства. Образы детей в русской и зарубежной литературе // «Мудрости бо ти имя подадеса...»: сб. ст. к юбилею проф. С. М. Лойтер. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 2011.
14. Пушкарева В. С. Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература второй половины XIX века: учеб. пособие. Белгород, 1998.
15. Шестакова Е. Ю. Тема детства в творчестве Ф. М. Достоевского // Гуманитарные науки в России XXI века: тенденции и перспективы: мат. Междунар. науч. конф. (г. Архангельск, 20-22 ноября 2008 г.). Архангельск, 2008.
16. Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979. № 12.

Информация об авторах | Author information



Аристова Светлана Александровна¹

¹ Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики



Aristova Svetlana Alexandrovna¹

¹ Saint Petersburg University of Management Technologies and Economics

¹ swetale@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 11.02.2022; опубликовано (published): 29.04.2022.

Ключевые слова (keywords): Ф. М. Достоевский; Н. В. Гоголь; феномен детства; тема детства; сюжетные переключки; F. M. Dostoevsky; N. V. Gogol; phenomenon of childhood; theme of childhood; plot similarities.